





## «ПОДВОДНОЕ ТЕЧЕНИЕ СМЫСЛА»

Судьба позаботилась о том, чтобы легенды сопутствовали и его триумфам, и катастрофам, продолжая жить десятилетиями, когда Эдгара По давно уже не было на свете. Или, может быть, об этом позаботился он сам? Романтики нередко создавали воображаемую личную биографию, столь властно подчинявшую себе реальные факты, что полтора столетия спустя становится подчас невозможно отделить истину от фантазии. Это было характерное свойство романтического сознания, выражение тоски по идеалу, вызвавшей к жизни сам романтизм. Складывался особый тип поведения, возникал тщательно продуманный образ скептика, бунтаря, вечного скитальца, снедаемого презрением к окружающему убожеству, томимого разочарованием, безверием и неудовлетворенной жадой действия, которое призвано переменить весь



существующий порядок вещей. И уже не имело большого значения, соответствует ли этот образ подлинным обстоятельствам, подтверждаемым не преданием, а документом.

Эдгар Аллан По (1809–1849) сосредоточил в себе черты личности романтического склада настолько полно, что еще и через много лет сомнение вызывали даже, кажется, бесспорные, бумагами и надежными свидетельствами удостоверенные события, из которых складывалась недолгая его жизнь. Мифы громоздились на мифы, выдумки были одна изобретательнее другой. При этом обязательно возникали подробности, придававшие вымыслу тот романтический оттенок, которого требовала толпа. Для нее романтизм означал только разного рода отклонения от обывательской нормы. Они выискивались биографами По с усердием необыкновенным. Рассказывалось, например, что родители По обвенчались без благословения, что его мать тяготилась двусмысленностью подобной ситуации, и оттого вскоре стала жертвой чахотки. Что отец поэта был блестящим генералом, и брак с актрисой, поразительной своей красотой покорившей сердце родовитого аристократа, приходилось держать в тайне. Что поэт вырос в семье нищих комедиантов, с детства был погружен в атмосферу, менее всего способствовавшую



твердости нравственных устоев, что подобному воспитанию он и обязан низменными свойствами своей души. Что комедианты трагически погибли, когда их сын был еще младенцем, а значит, сиротству и надо приписать изыяны его характера.

Никого не смущала разноречивость этих сведений, еще менее — их совершенная произвольность. С молодых лет По стал фигурой, вызывавшей кривотолки, которые со временем переросли в прямую клевету. Сплетни о его происхождении были сравнительно безвредны на фоне инсинуаций, задевавших куда более болезненно. Теперь не так просто понять, отчего соотечественники не принимали его почти единодушно. Но надо прикоснуться к атмосфере Америки той поры, перечтя хотя бы заметки Диккенса, шокированного воинствующим практицизмом и пренебрежением к интеллекту, на каждом шагу поражавшими его в заокеанской республике. Когда отмечали столетний юбилей По, Бернард Шоу, выражая мнение едва ли не всех европейских ценителей «Ворона» и «Улялюм», недоуменно вопрошал: «Каким образом мог явиться в Америке этот тончайший из художников, истинный аристократ литературы?» А Шарль Бодлер, которому По обязан своей громкой славой во Франции, еще в середине

прошлого века со всей решительностью заявил, что «Соединенные Штаты были для него (По. — А. З.) лишь громадной тюрьмой, по которой он лихорадочно метался, как существо, рожденное дышать в мире с более чистым воздухом». Иначе и не могло быть. Тогдашняя Америка виделась Бодлеру, никогда, правда, ее не посещавшему, лишь как «сброд продавцов и покупателей», как «безымянное чудовище», удушающее истинные поэтические дарования, которые там никому не нужны.

В такого рода суждениях — а их можно привести десятки — есть немалая доля правды. Восстанавливая по сохранившимся откликам прижизненную репутацию По, нельзя не заметить, что за редчайшим исключением оценки современников были крайне нетерпимыми. Резкости тогда никого не удивляли: По, лучший журналист и критик своей эпохи, на журнальных страницах и сам бывал беспощаден, грубо высмеивая оппонентов, хотя бы увенчанных лаврами. А все же... Усвоив, что с ним сложно спорить с помощью эстетических аргументов, хулители предпочитали копаться в личной жизни поэта и без колебаний пускали в ход самые нелепые измышления. По устал удивляться, читая в газетах, что он человек безнравственный, авантюрист, пьяница, развратник — чему



только не нашлось места в этом длинном перечне.

И после смерти клевета продолжала преследовать поэта. Его душеприказчиком стал некто Руфус Грисуолд, печатавшийся в нью-йоркской периодике и составлявший довольно посредственные антологии текущей американской литературы. Отношения По с Грисуолдом все еще прояснены не до конца. Был недолгий период дружбы, затем убийственная рецензия По на первую из грисуолдовских антологий, разрыв, примирение и письмо, которым По отдавал в руки Грисуолда весь свой архив. В недобрый час было оно написано. Грисуолд сполна использовал предоставившийся шанс свести счеты. Скандально знаменитый некролог за подписью «Людвиг» и мемуары, помещенные в «Сочинения покойного Эдгара По», начавших выходить с 1850 года, начинены гнусностями, преподносимыми с морализаторским пылом, который импонировал добродетельной мещанской публике. Она и сам четырехтомник раскупала больше, чтобы повздыхать над «безумствующим» сочинителем да поупражняться в ханжеском красноречии. Проза, а тем более стихи По, интересовали ее мало. Сенсация, в свое время произведенная некоторыми его новеллами, забылась. Остался лишь старательно отретуширован-



ный Грисуолдом портрет циника, скандалиста и честолюбца, которого природа зачем-то наделила даром создавать порой блистательные строфы.

Наветы Грисуолда не вызвали доверия у лучших литераторов той поры. Позднейшие разыскания уличили его в приемах, которыми не побрезговал бы разве что бульварный журналист (к примеру, характеристика По, как выяснилось, была списана из одного романа Э. Бульвер-Литтона, изображавшего ходульного злодея). Но дело было сделано: для тех, кто не вникал в литературные тонкости, По, казалось, погиб окончательно, а Грисуолд мог чувствовать себя отмщенным за давнюю обиду. Много ли значили опровержения экспертов, коль вспомнить, что уже укрепилась молва, основанная главным образом на мемуарах душеприказчика. И что он, по всей видимости, уничтожал доставшиеся ему документы, а также исправлял рукописи, встречая в них страницы, опровергающие его тенденциозную версию.

Все пишущие о По обязательно вспоминают Грисуолда в качестве его злого демона. Спорить тут не о чем. Однако справедливость требует уточнить, что во многом Грисуолд опирался на «меморандум», самим По подготовленный для



своих биографов. А «меморандум» этот — тоже легенда. Сознательно творимая автором.

Просмотрим эти полторы странички, они скажут о По очень многое. Он решил помолодеть на два года и непременно доказать, что принадлежит к сливкам балтиморского общества. Для этого был изобретен дед — английский адмирал, а другой дед, скромный майор интендантской службы, сделан генералом и другом прославленного Лафайета, героя американской и французской революций. О профессии родителей, скитавшихся по всей стране актеров, «меморандум» не обмолвился ни словом, зато в нем есть занимательная история о собственных странствиях По в юности. Оказывается, сердце влекло его к берегам Греции, сражающейся за свободу; в кармане не было ни гроша, но он, семнадцатилетний романтик, чуть было не осуществил пламенную мечту, хотя судьба под конец забросила его не на Ионические острова, а в Санкт-Петербург, откуда он выбрался лишь с помощью американского консула. И так далее.

Замечательный документ, особенно если прочесть его в контексте эпохи. Перед нами продуманный сюжет жизни, какой ей надлежало быть согласно романтическим канонам. Во-



ображение По, возьмись он за автобиографический роман, конечно, украсило бы этот план-набросок самыми красочными подробностями, и мы бы погрузились в историю законченного идеалиста, жаждущего осуществить свое высокое предназначение, не считаясь с законами реальной жизни. Таких героев в те времена было нетрудно встретить и среди итальянских карбонариев, и на баррикадах Парижа, и в полках Черноморской линии или Кавказского корпуса.

Выражаясь современным языком, По моделирует жизненный путь типичного сына века и очень хотел бы, чтобы в нем видели не проштрафившегося и отчисленного питомца военной школы, не редактора провинциальных американских журналов, но личность героическую, воодушевленную великой идеей, движимую сознанием собственного избранничества на подвиг. Образец перед глазами. Им, разумеется, служит Байрон, чье имя еще у всех на устах. Точнее сказать, не образец, а весьма условный и обобщенный образ, который с этим именем сопрягается в сознании бесчисленных «байронистов» той поры.

Предлагая свое толкование личности По, его недоброжелатели отталкиваются от той же модели, но совсем иначе увиденной и оцененной. Для Эдгара По Байрон воплощает идеальную



сторону романтизма, для Грисуолда и других — сторону разрушительную, «демоническую» и, по филистерским меркам, крайне опасную. И в том, и в другом случае целостный образ Байрона неизбежно размывается, упрощается, однако важна тенденция, направляющая подобные усилия. Как средоточие аморализма Байрон изображался светской хроникой и бульварной беллетристикой уже при жизни, и заключительная, греческая глава его биографии по существу ничего не изменила: клеветники не умолкли, порочащие Байрона легенды продолжали множиться. Из этих легенд Грисуолд черпает все основное, что войдет в его рассказ об Эдгаре По, изобилующий словами о распутстве, безбожии, высокомерии, желчности, самообожании, ненависти к человечеству...

Самое интересное, что и после того, как открылась произведенная Грисуолдом подтасовка, По все равно воспринимался сквозь призму фальсификаторских мемуаров его душеприказчика. Причем так воспринимали По не только «обличители», но и приверженцы. Их отношение было, конечно, другим: там, где Грисуолд возмущался или провоцировал обывательские страхи, энтузиасты восторгались бескомпромиссностью, с какой По следовал своему назначению истинного романтика и в творчестве,

и в будничной жизни. Однако они не замечали, что рассуждают не столько о поэте, сколько о вымышленной фигуре.

И оттого Бодлер с убежденностью писал о бесконечном одиночестве По, представлявшегося ему «мрачным и блестящим гением», для которого родина была лишь «громадным варварским загоном, освещенным газом», царством «подлых душонок», бахвалящихся своей лживой праведностью, об «истерии, подавлявшей волю», о «противоречии между нервами и умом человека, дошедшего до того, что боль он выражает хохотом». Оттого Брюсов уверенно говорил: «Мы, которым Эдгар По открыл весь соблазн своего демона извращенности...» Оттого Блоку казалось, что «Эдгар По — воплощенный экстаз, «планета без орбиты» в изумрудном сиянии Люцифера...»

Если вдуматься, станет ясно, что в искреннем своем восхищении американским поэтом все они едва ли не буквально повторяли сказанное Грисуолдом, придав прямо противоположный смысл его суждениям. Живучесть грисуолдовской интерпретации удивительна. Литературные достоинства мемуаров, в которых она изложена, тут ни при чем. Когда Грисуолда схватили за руку, его домыслы должны были стать лишь полузабытой недостойной страницей



американских литературных анналов, однако этому воспрепятствовало одно обстоятельство: выдуманный им По был слишком легко и хорошо узнаваемым. За ним возникал другой образ, вставала другая яркая личность, без малого столетие остававшаяся предметом самой страстной полемики и самых фантастических истолкований, — Байрон. Спорили об Эдгаре По, но этот спор раз за разом перерастал в крайне разноречивые осмысления байронизма как жизненной философии и этической позиции, как умонастроения, которое сохранило свою актуальность, когда творчество самого Байрона сделалось скорее достоянием истории литературы, чем живым художественным явлением.

Отчетливей других это почувствовал Блок. Есть у него статья «Русские дэнди», написанная в 1919 году и рассказывающая о встрече с молодым поэтом (будущим известным переводчиком В. Стеничем), исповедовавшим весь тот комплекс мыслей и чувств, по которому сразу можно было отличить поклонника декадентства. В голодном промерзшем Петрограде того времени странное впечатление производил этот не без щегольства одетый юноша: он сыпал парадоксами и похвалялся ранним разочарованием в жизни, презрением к ее серой заурядности. На



месте Блока многие сочли бы, что тут одно поэзерство, однако он видел дальше и глубже, ощутив в собеседнике пусть слабую, но все же искру, которая затеплилась от могучего байроновского огня. Она опалила «крылья крылатых», сказано у Блока, и перекинулась на пустоши «прогрессивности» и «полезностей». Но затем перешла и за недозволенную черту, когда пламя это, великий соблазн «антимещанства», начинает разрушать нравственный остов личности.

«Крылатые» — для Блока это и Оскар Уайльд, и Бодлер. А первым названо имя По.

Известно, как много оно значило для символизма. В дневниках и статьях молодого Блока довольно частые отсылки к По принципиально однородны: речь идет исключительно о поэзии, о «безмерной остроте и сложности», которые носил в сердце этот непризнанный гений, о «воплощенном экстазе», о чужеродности «толпе». Русский символизм открывал По через бодлеровское посредничество, неизбежно усваивая и тот образ, который в конечном счете опирается на переосмысленные грисуолдовские мемуары.

Но «Русские дэнди» — статья не о литературе. Она — об определенном типе мироощущения и поведения, от Байрона идущем и сохраняющем устойчивость основы. При всех



трансформациях во времени. И написана она после «Скифов» и «Двенадцати», когда символизм, не говоря уж о его предтечах, среди которых По фигурировал на первых ролях, давно утратил для Блока былое значение. Он теперь судит об этих материях беспристрастно, даже сухо. За поэзией он постигает судьбу, вписанную в большую и противоречивую этическую традицию. Тут уже не интерпретация, выросшая из легенд, тут обобщение мыслей, которые родились над стихами По, прочитанными как документ духовной истории XIX, да отчасти и XX столетия. И сама масштабность контекста придает блоковской идее большую убедительность, чем та, какой обладают концепции, пытающиеся привязать творчество По лишь к его стране, к его эпохе или еще конкретнее — к его биографии, пусть и очищенной от искажений.

Подлинная биография, стараниями нескольких поколений филологов наконец установленная в основных звеньях, только с серьезными оговорками может быть признана путеводной нитью для входящих в этот художественный мир. Конечно, лирика всегда связана с пережитым самим поэтом, но опосредования столь прихотливы и сложны, что прямые биографические аналогии оказываются несостоятельны: